

бования к объему, содержанию и структуре дипломной работы определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации., утвержденного Минобразованием России, ...и методических рекомендаций УМО вузов Российской Федерации по педагогическому образованию». Методических рекомендаций УМО, как уже отмечалось, до сих пор не появилось. В «Методике» Исследовательского центра отмечается, что предлагаемые выпускникам темы «дипломных работ (проектов)» должны соотноситься «с видами и задачами профессиональной деятельности, указанными для специалиста соответствующего профиля в ГОС». В цитируемых документах не устанавливаются какие-либо другие конкретные указания по тематике и содержанию ВКР. Это связано, на наш взгляд, с тем, что вузами к настоящему времени наработан богатый положительный опыт организации подготовки и защиты выпускниками дипломных работ. Тем не менее, необходимо уточнение комплекса требований, которые должны стать объектом оценки в ходе подготовки, выполнения и защиты квалификационной работы по специальности «История». Нужна качественная переработка комплекса методических документов, адресованных как студенту с целью научно-методического и организационного обеспечения его учебно-исследовательской деятельности на завершающем этапе обучения в вузе, так и руководителю студента, рецензенту, членам ГАК, участвующим в процедуре защиты выпускником квалификационной работы.

---

1. Вестник высшей школы. 1999. № 2. С.30.

2. Там же. С. 33.

3. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 193.

4. Высшее образование в России. 2004. № 1. С. 38.

5. Программа модернизации педагогического образования //Информационный бюллетень УрГПУ. № 54. Екатеринбург, 2003. С. 7.

6. Там же. С. 27, 35.

7. См.: Государственный стандарт высшего профессионального образования. Специальность 032600 История. М., 2000. С. 18, 19.

**Зубков К.И. (Екатеринбург)**

**Региональная история: проблемное поле и методологические перспективы**

Обсуждение значения регионального компонента в современном историческом образовании неразрывно связано со статусом региональной истории в той системе исследовательских приоритетов, которая определилась к рубежу XX и XXI веков. Само развитие историографии, помимо других возможных его концептуальных измерений, можно представить в виде смены исследовательских парадигм, которые выдвигают на первый план тот или иной способ пространственного моделирования

истории. Речь идет в данном случае не просто о разности предпочтительных для анализа территориальных масштабов развертывания истории, но о разности связанных с ними нормативных структур исследования, в каждой из которых отражены практически все атрибуты научной парадигмы – и своя теоретическая основа, и свой проблемный диапазон, и своя система методов. И в этом проявляется не только «конструктивистская» свобода историка-исследователя – присущая определенному территориальному масштабу видения истории концептуальная новизна в значительной мере предопределена самими свойствами исторической реальности.

«Территориальность» в истории в высшей степени содержательна, чему в мировой историографии немало выразительных примеров. Когда в 1981 г. британский историк Уильям Мак-Нейл выдвигал парадигму «мировой истории» (world history), он отождествлял ее не с суммой национальных историй (как это полагали по привычке), но в первую очередь с исследованием тех пластов исторической реальности, которые действительно характеризуются качеством «всемирности»: трансконтинентальных миграций (вроде Великого переселения народов и Великих географических открытий), диффузии технологий, прозелитизма мировых религий, маршрутов мировой торговли, складывания мирового капиталистического рынка и т.п. Очевидно, что исследование таких феноменов в национально-ограниченных рамках неизбежно вело бы к существенным пробелам в понимании механизмов их возникновения, функционирования и развития. На противоположном «полюсе» мы видим богатейшие эвристические возможности локальной истории, или «микроистории», выведенной из забвения историками школы «Анналов» в качестве полигона для раскрытия «тотальности» человеческого бытия в истории. И дело здесь, конечно же, не только в неоспоримых технических преимуществах «микроисторического» подхода (в частности, в обозримости как самого изучаемого фрагмента исторической реальности, так и отражающей его источниковой базы), но и в его содержательной определенности. «Микроистория» предлагает наиболее адекватный подход к исследованию структур исторической повседневности, поскольку исходная целостность человеческого бытия лучше всего «просматривается» именно на локальном уровне. Можно предвидеть, что не меньшее богатство оригинальных концептуальных проекций несет в себе и региональный масштаб анализа истории.

Существенно и то, что «территориальность» выступает не только как пространственное выражение исторического развития общества – она встроена в самый механизм этого развития. Дело в том, что развитие общества – причем не только его экономики, но также и социально-политических структур и культурных практик – в основе своей гораздо

более инертно и менее преемственно, чем принято думать. Его невозможно свести к однолинейному процессу динамичного совершенствования социальных институтов, опирающегося только на внутренние источники и механизмы развития. На самом деле, всякое развитие общества содержит в себе и элементы развертывающегося в историческом пространстве эпигенеза – процесса последовательного возникновения новых социальных форм и структур, имеющих по отношению к предыдущим формам и структурам относительно самостоятельное значение.

Первая форма исторического движения может быть охарактеризована как развитие «вглубь», вторая же – в той части, где возникновение новых форм и структур связано с пространственной экспансией – развитием «вширь». В этом контексте переход общества на новую ступень развития зачастую связан не с его внутренним динамизмом, трансформирующим или «взрывающим» старые социальные и политические формы, но с возникновением новых географических реальностей и формированием регионов как территориальных баз качественно нового развития. Отношение же этих географически обусловленных новых моделей развития к общей линии исторического прогресса общества далеко не определено и может выявляться лишь самим его ходом.

Так, например, освоение Сибири в XVII в. и эксплуатация ее пушных богатств существенно повлияли на всю траекторию развития Русского государства, дав начальные импульсы процессу модернизации страны. Советская историография, на наш взгляд, слишком радикально в свое время подвергла критике концепцию т.н. «торгового капитализма», подчеркивая исключительно феодальный характер эксплуатации государством русского и инородческого населения Сибири. Конечно, было бы преувеличением признавать наличие в России того времени развитых элементов «торгового капитала» как социальной силы, противоположной феодальному государству и дающей толчок развитию буржуазных отношений. Однако, следует учесть, что доходы, получаемые Русским государством от торговли сибирской пушиной, будучи его своеобразным «валютным резервом», расходовались не только для удовлетворения потребностей господствующего класса, но и для проведения в жизнь широкой программы общегосударственных мероприятий, включая военное строительство и осуществление внешней политики. На эту сторону сибирской пушной торговли особо указывает американский историк Н.Фрейшин-Чировски: «Доходы от пушной монополии и ясака не только финансировали содержание сибирской администрации, но и доставляли центральному правительству значительный избыток для оплаты других общественных начинаний» (1). Монопольное положение казны в развивающейся торговле с Западом отнюдь не отменяло большого значения последней для развития русского предпринимательства. Из доходов от

«мягкой рухляди», в частности, кредитовалось московское купечество, ведшее торговлю с Персией и Западной Европой (2). Само открытие Русского государства Западной Европе и установление с ней прочных торгово-дипломатических связей находилось под мощным давлением коммерческого интереса европейцев к скупке мехов на русских рынках или достижению «соболиных» мест. Высокий спрос на пушнину позволял достаточно отсталай тогда по сравнению с Европой России расширять свои международные экономические позиции. Ф.Бродель, характеризуя выход России на просторы Азии в конце XVI в., проницательно заметил: «Если Европа «изобрела» Америку, то России пришлось «изобретать» Сибирь» (3). Сопоставляя два параллельных колониционных процесса, французский историк тем самым подчеркивает, что, благодаря Сибири, России удалось не только воссоздать свой «мир-экономику», но и удержаться в системе международных торговых обменов, избегнув окончательного оттеснения на периферию европейской цивилизации, т.е. выполнить жизненно важную для ее государственного существования историческую задачу, хотя и более скромную, чем завоевание мирового лидерства, которое было обеспечено европейцам освоением Америки. Зададим себе вопрос: мог ли состояться этот исторический прогресс в одних только рамках старых русских территорий? Ответ, скорее всего, будет отрицательный.

В еще большей степени вышесказанное относится к Уральскому региону, развитие которого с начала XVIII в. фактически означало вступление России в промышленную цивилизацию. В этом развитии очень многое определялось перевесом географически обусловленных природно-естественных факторов продуктивности (наличие богатейших и доступных для разработки ресурсов руды, леса, водной энергии и т.п.) над более мобильными – социально-экономическими и технологическими. За счет этого себестоимость производства полосового железа на Урале было в 2–2,5 раза ниже, чем на олонечских и подмосковных заводах (4). Существенно и то, что наличие крупных запасов топлива и сырья на Урале позволяло совершить «прорыв» и в области организации металлургического производства – поставить ее в ином, чем прежде, – крупнозаводском – масштабе, что в свою очередь определило принципиальную совместимость организационно-технической основы развития индустрии в России и на Западе. Словом, то, в чем Россия проигрывала Западу с точки зрения развития «вглубь», она «добирала» путем развития «вширь», за счет естественно обусловленного разнообразия и богатства ресурсов на своих обширных территориях.

В связи с этим может возникнуть закономерный вопрос: можно ли приписать экстенсивным факторам более чем краткосрочное и конъюнктурное влияние на формирование магистрального вектора исторического

развития страны? Ведь если соотносить социальную организацию труда в горнозаводском хозяйстве Урала в XVIII в. с генезисом капитализма, то следует признать, что она содержала в себе не так уж много элементов нового капиталистического уклада, поскольку лишь отчасти была представлена вольнонаемным трудом, а с середины XVIII в., в ходе своеобразной «рефеодализации» горной промышленности, стала базироваться преимущественно на традиционной для России основе – на труде крепостных и других феодально-зависимых категорий населения (5). Однако, мера социального прогресса, на наш взгляд, не может определяться только по тому, насколько социальное положение уральского рабочего соответствовало или не соответствовало тенденции прогрессивного капиталистического развития. Измерение исторического прогресса – коль скоро он фиксируется в разных сферах общественной жизни – никогда не может быть сведено только к одной из них. Помимо социально-экономического содержания труда, социальный прогресс может измеряться и накапливаемым социально-технологическим опытом работы в крупной заводской промышленности, формированием у значительных групп населения элементов индустриальной производственной культуры (в том числе ее интеллектуально-творческих компонентов), навыков и привычки к индустриальному труду. Такое преимущественно культурно-технологическое измерение промышленной модернизации позволяет во многих отношениях рассматривать горнозаводский Урал в качестве одной из лидирующих баз развития, определявших уровень индустриального прогресса России в целом. Это проявилось, в частности, в том, что именно Урал предопределил во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. выход России на новый уровень технико-технологической эволюции. Изобретение И.А.Ползуновым первого в мире универсального парового двигателя непрерывного действия (1763 г.), создание Е.А. и М.Е.Черепановыми первого в России паровоза и первой железной дороги (1834 г.) – лишь наиболее яркие свидетельства передового уровня технической мысли, развивавшейся на базе горнозаводской экономики Урала. Излишне подчеркивать и то, насколько значительную роль сыграл разбуженный Петром Великим Урал в создании экономических предпосылок для победы России в Северной войне и ее вхождении в ансамбль сильнейших европейских держав.

Подчеркивая роль региональных баз в определении общей траектории развития государства, можно говорить, однако, не только об экономике. Прослеживается прямая связь между качественными преобразованиями в политических структурах государства и его территориальным ростом. В России формирование империи абсолютистского типа происходило не только в связи с выходом процесса территориальной экспансии за пределы исходного этнического «ядра» государства. Существенно

то, что с определенного исторического момента экстенсивный рост экономического организма страны и имперское строительство вступали в определенный резонанс, взаимно усиливая друг друга. Смещение ресурсно-силовой базы экономики из исторического центра страны на новые неосвоенные и незаселенные территории востока осуществлялось, как правило, в русле расширения собственности абсолютистского государства (которая в силу сохранявшегося патримониального характера русской государственности была в первое время неотделима от собственности царского двора) и системы бюрократического контроля, а это в свою очередь усиливало политическое могущество самодержавной власти, довольно резко, почти «скачкообразно» по историческим меркам, возвышало ее над старой структурой социальных и политических отношений, в той или иной мере соответствующей нормам сословно-представительной монархии. Материализованным источников усиления имперской власти становились различные виды экономической и торговой монополии, получавшие развернутое воплощение, прежде всего, на вновь присоединенных восточных территориях. В первую очередь это касалось земли как универсального территориального ресурса власти, а затем различных видов высокоценного сырья и металлов (пушнина, медь, селитра, соль, золото и серебро и др.).

В истории и России, и целого ряда зарубежных государств можно обнаружить далеко не в виде редких исключений примеры паразитической инерции старых институционально-политических форм, возникших в определенное время и в определенном природно-географическом и геополитическом «формате», жестко связанных с этим хронотопом и в силу этого слабо адаптированных к дальнейшему прогрессу. В этом случае импульсы складывания новой властно-политической структуры (например, при переходе от феодального партикуляризма к политической централизации и генезису абсолютистского государства) иницируются уже не в центре государственного образования, а на его окраинах, где формируются новые, более перспективные, свободные от давления старых институтов варианты политической организации общества. С этим, например, связано возвышение в XVIII в., при Гогенцоллернах, Прусского королевства, самым источником возникновения и роста которого послужила территориальная экспансия Бранденбургского маркграфства на славянские и прусские земли побережья Балтийского моря. Будучи первоначально бедным и отсталым государством, зародившимся на северо-восточных окраинах немецких земель, Пруссия через усиление авторитарной королевской власти, оснащенной дисциплинированной армией и эффективной бюрократией, постепенно превращалась в новое ядро национального объединения Германии на принципиально иных государственно-политических основаниях, чем те, которые были харак-

терны для обреченной на политический застой «Священной Римской империи» (6). Эта «территориальная» закономерность, затрагивающая генезис институционально-политических механизмов модернизации, отчетливо прослеживалась и в развитии стран Востока. В Османской империи процесс политической и культурной модернизации был связан с деятельностью правителя Египта (страны подчиненной, периферийной по отношению к «национальной территории» османов!) Мохаммеда Али, который, опираясь на свою «региональную» базу поддержки, истребил элитную опору старого средневекового порядка – корпус янычар и тем самым в 1826 г. инициировал серию крупных институциональных реформ. Одним из ближайших последствий этого исторического поворота стал быстрый рост и усиление позиций центрального бюрократического аппарата, благодаря которому в Османской империи сложилась принципиально новая система управления, копировавшая в ряде существенных черт «новоевропейский» абсолютизм (7).

В русской истории подобное совершается уже на раннем этапе государственного развития, когда принципиально новый, единственно устойчивый и обладавший перспективой тип государственности возникает на колонизируемой северо-восточной окраине Древнерусской державы – во Владимиро-Суздальской земле, в то время как западно- и южнорусские земли во главе с Киевом вступают в полосу затяжного кризиса. К.Д.Кавелин в статье «Краткий взгляд на русскую историю» (1863–1864 гг.) так характеризует этот судьбоносный исторический поворот, связанный с рождением новых государственных начал: «В древнейшие времена заметно яркое различие великорусского племени от западно-русского. Последние смотрели на первое свысока, с презрением. В нем нет почти индивидуального начала, нет поэтического характера, личной храбрости, удалства, рыцарства; действует массами, не пускается на рискованное дело, выжидает, страшно выдержанно. Князья на этой почве перерождаются: из переселяющихся из области в область и воюющих становятся оседлыми и уже в XII веке мечтают о единой державе. Андрей Боголюбский и Всеволод напоминают последующих московских царей» (8).

Колонизация Урала и Сибири в XVI–XVII вв. не привела к перемещению политического центра русской государственности на восток, однако в полной мере можно говорить о том, что именно востоком был сформирован новый строй государственных отношений, заложивший в дальнейшем фундамент петровского абсолютизма. Русский эмигрантский историк Вс.Н.Иванов справедливо отмечал в 1926 г., что на востоке «отношение к ней (Москве – К.З.) как государственному центру отличалось от такого же отношения края к западу от Москвы, где живы были отголоски борьбы, крепки были западные влияния. Восток стал носителем спокойной русской государственности. Он стал тем огромным мо-

нолитом, который удержал в равновесии Московское царство в смутах начала XVII века и помог впоследствии своей огромной тяжестью уравновесить государственный наш корабль и помочь присоединить к Москве области к западу от нее». Именно на Востоке «власть Московского Великого Князя сходилась на эти места как нечто совершенное и законное. Никаких сомнений не могло возникнуть здесь – принимать или не принимать власть Хана Белой Орды, власть Белого Царя, взамен привычной, веками освященной власти Хана Золотой Орды» (9). Эта оценка историком формирующегося на восточных просторах нового состояния русской государственности вполне созвучна уже русскому сознанию XVII в. В выдающемся памятнике русской литературы – назидательной «Повести о Савве Грудцыне», воссоздающей обстановку первой трети XVII в., рассказывается о том, как бес, совращающий купеческого сына Савву Грудцына на погибель души, уводит его в поле за «градом Орлом», близ Соли Камской (по-видимому, имеется в виду строгановский Орел-городок – К.З.), и, приведя «в пусто место на некий холм», затуманивает взор юноши видением великолепного города, где «все от злата чиста блистаяся». Объявив себя сыном правящего этим городом царя, бес приводит юношу на поклонение дьяволу. Автор повести сокрушенно восклицает по поводу легковерия Саввы: «Оле безумие отрока! Ведый бо яко никоторое царство прилежит в близости к Московскому государству, но все обладаемо бе царем московским» (10). В одной этой фразе замечательно точно передан переломный этап в развитии политического сознания русского человека начала XVII в., когда растревоженное Смутой былое «удельное» сознание (подобное смуте в душе сбитого с пути юноши) отступает перед непреложностью нового факта – восхождением могущественного в своем единстве и исключительности самодержавного Московского царства. Симптоматично, что автор место действия переносит далеко на восток от Москвы и Казани, вписывая данный эпизод в топографию «чистого поля», символизирующего беспредельность власти московского царя.

Приведенные примеры ясно показывают, что регионы как составные части национально-государственной территории выступают не только реципиентами тех импульсов развития, которые возникают в историческом центре; своеобразии географических условий и человеческого материала делает их узлами «кристаллизации» новых социальных возможностей и, следовательно, относительно самостоятельными центрами инициации исторической жизни. Региональная специфика становится источником вариантного разнообразия путей развития государственно-политических форм. Равнодействующий вектор этого весьма неравномерного в динамике развития – независимо от того, смещается географически его политический центр или нет – выступает результатом более



или менее успешной, в меру случайной селекции региональных влияний и тех исторических альтернатив, которые они предлагают.

В этом свете регион предстает по-настоящему «суверенной» исторической реальностью, ценность которой для понимания общего хода исторического развития общества отнюдь не меньше, чем ценность того, что мы называем национальным историческим опытом. Строго говоря, пространственный масштаб анализа и моделирования исторического процесса никогда не должен быть самодовлеющим критерием, определяющим ранг конкретного исследования в иерархии научной ценности. Более того, если речь идет не об уникальных исторических явлениях политического или культурного толка, а о массовых процессах, дискурс общенациональной истории зачастую может представлять гораздо более «усредненным» и искусственным построением, чем анализ, осуществляемый в рамках региональной истории. В этом, пожалуй, состоит важнейший смысловой итог, к которому должна была прийти и приходит сегодня наша историография (на Западе понимание самостоятельной ценности региональной и локальной истории утвердилось уже так давно, что кажется аксиоматичным). Прежнее же положение, когда региональная история служила лишь целям иллюстративного «оживления» истории государственной, в основном являлось проекцией на исследовательскую практику вненаучных факторов, прежде всего, административной иерархией в руководстве исторической наукой.

Уравнение в правах общенациональной и региональной историографий, однако, ставит весьма серьезную методологическую проблему, которая заключается в том, что последняя имеет дело не просто с объектом изучения более скромного масштаба, но с особой исторической субстанцией. Регион – это качественно своеобразная историческая реальность, к которой нельзя подходить так, как мы подходим к истории государства. (Будь по-иному, потребность в региональных исследованиях снималась бы относительно просто – всего-навсего большей «проработкой» деталей и частностей в общей картине исторического развития государства). Если государство – это в основном продукт политических процессов и решений, то регион – это подсистема, «ядром» которой выступает природно-географическое своеобразие территории, и все виды исторической жизнедеятельности людей, которые мы анализируем в масштабе региона, обусловлены процессами самоорганизации общества, в которых география изначально играет определяющую роль. Различия между государством и регионом нередко проявлялись в несовместимости или, по крайней мере, известной напряженности между принципами административной регионализации (как проявлением абстрагирующего государственного «разума») и данностью естественной регионализации, исторически развивающейся по схеме «местность – уклад – обычай – народ».

Поэтому, например, несмотря на основательную изученность многих сюжетов и событий истории Урала, закономерности формирования его пространственной структуры как целостного, исторически сложившегося региона до сих пор относятся к числу малоисследованных проблем. Без больших натяжек можно утверждать, что анализ региональной истории в определенных «территориальных рамках», зачастую никак не связан с попытками научно объяснить условия и предпосылки формирования региона как целостного гомогенного образования. Выделение региона как объекта исследования по-прежнему определяется в большей степени а priori сложившейся территориальной организацией исторических исследований и границами современных административно-территориальных образований, чем сознательным и строгим выделением объекта изучения.

Возможность рассмотрения истории региона в ее не формальном, но содержательном единстве непосредственно зависит, таким образом, от нахождения ясных и обоснованных критериев определения границ и внутреннего единства региона через выявление воспроизводящих это единство структурных взаимосвязей. При этом следует учитывать по крайней мере три важных методологических условия: первое – то, что обуславливающая региональную интеграцию структура связей является исторически изменяющейся, «развертывающейся» себя через постепенное насыщение новыми признаками и свойствами; второе – то, что эта структура связей в большинстве случаев является «неполной», соответствующим образом ориентированной, поскольку сама выступает функциональной подсистемой более крупной и сложной структуры – государственной территории; и, наконец, третье – то, что по сравнению с темпом «сквозных» общеисторических процессов, связанных с изменением отдельных элементов региональной структуры (экономических, социальных, политических, культурных), структурные связи и отношения более инертны, относительно постоянны в пределах достаточно длительных временных протяженностей. Это, собственно, и требует от историка применять в исследовании региональной истории комбинацию историко-генетических и структурно-логических методов.

1. Freishin-Chirovsky N. The Economic Factors in the Growth of Russia. An Economic Historical Analysis. N.Y., 1957. P. 97–98.
2. Бахрушин С.В. Научные труды. Т. IV. М., 1959. С. 11.
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. М., 1992. С. 468.
4. Дулов А.В. Географическая среда и история России. Конец XV – середина XIX в. М., 1983. С. 100.
5. История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 318.
6. Conradt D.P. The German Polity. 6<sup>th</sup> ed. White Plains; N.Y., 1996. P. 2.
7. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. L.; N.Y., 1992. P. 74.

8. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 158–159.
9. Иванов В.Н. Мы. Культурно-исторические основы русской государственности // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2002. № 2. С. 103, 115.
10. Повесть о Савве Грудцыне // Русская бытовая повесть XV–XVII веков. М., 1991. С. 317.